

The background is a dramatic oil painting. A woman with long, dark, flowing hair is shown in profile, looking towards the right. She is wearing a red, ruffled dress. The sky above her is a massive, swirling mass of bright red, resembling a giant bloodstain or a storm. Below the red sky, the landscape is desolate and rocky, with a few bare trees and a small stream or path. The overall mood is somber and intense.

Сергей Патрушев

Последняя
женщина на
земле

Сергей Патрушев

Последняя женщина на земле

<https://litres.ru/74367579>

SelfPub; 2026

Аннотация

Последняя женщина на земле — это пронзительная, глубокая история о женщине, оставшейся одной в опустевшем мире, где не осталось ни голосов, ни надежд, ни времени в привычном его понимании. Она живёт в старом доме, хранящем чужие воспоминания, среди пыльных вещей, призраков прошлого и собственной неизбывной тоски, но однажды ночью тишина обретает голос: к ней приходят ангел и демон, а вслед за ними возвращаются тени тех, кого она любила.

Через разговоры с незримыми гостями, через боль, ненависть, нежность и принятие героиня проходит путь от ледяного одиночества к внутреннему воскресению. Это роман-медитация о любви, памяти, свободе и о том, что даже на краю гибели человек способен найти свет в самом себе. Книга написана поэтичным, образным языком, в ней мало действия, но много тишины, откровения и красоты, которая согревает, как тёплый плед в самый холодный вечер.

Содержание

Глава 1.	4
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Сергей Патрушев

Последняя женщина на земле

Глава 1.

Время здесь больше не измерялось секундами, минутами или часами. Оно стало чем-то вязким, почти осязаемым, оно стекало по стенам вместе с каплями конденсата, застывало в углах, где когда-то звучали голоса, и медленно, неумолимо заполняло собой всё пространство, оставшееся от прежнего мира. Мира, который она помнила лишь отрывками, снами, полустёртыми кадрами, выцветшими, как старая киноплёнка, найденная на дне опустевшего дома. Она давно перестала считать дни, потому что дни больше не имели значения. Имело значение лишь одно — она всё ещё дышит. Её лёгкие, вопреки всему, продолжают делать эту простую, никому больше не нужную работу.

Она стояла у окна, выходившего на запад, туда, где раньше, по вечерам, солнце растекалось по крышам жидким золотом, а теперь — лишь серый, безжизненный простор, уку-

танный в саван вечной пыли. Горизонт проглотил все ориентиры. Ни столбов, ни антенн, ни острых шпилей, которые когда-то вспарывали низкое небо. Только пустота, растянувшаяся до самого края, до той точки, где земля, кажется, перестаёт существовать, сливаясь с таким же мёртвым небом.

Она провела ладонью по стеклу, оставляя на нём размытый след. Холод просочился сквозь трещину в раме, пробрался под кожу, напомнив, что она всё ещё из плоти и крови. Всё ещё человек. Последний, если верить тишине, которая окружала её со всех сторон. Тишина была не просто отсутствием звука — она была существом. Она имела вес, плотность, голод. Она поселилась в каждой комнате, в каждом шкафу, под каждой кроватью, и ждала, когда последняя искра тепла, последняя вибрация жизни, наконец, угаснет.

Дом, ставший её убежищем, а по сути — тюрьмой, хранил чужие воспоминания. На кухне, возле медной турки, осела пыль тех утренних разговоров, что когда-то рождались здесь вместе с ароматом кофе. В гостиной, у камина, всё ещё витал призрак чьего-то смеха, застрявший в ворсе ковра, словно запах духов в старой шали. Она часто сидела в том кресле, что стояло у окна, и смотрела, как свет медленно умирает, как тени становятся длиннее, как дом постепенно превращается в склеп. Иногда ей казалось, что она — не последняя женщина, а последний сторож, охраняющий музей, который

никому уже не нужен.

Она подошла к зеркалу. Тусклое, покрытое пятнами, оно отражало незнакомку. Ввалившиеся глаза, в которых больше не было ни страха, ни надежды — только усталое, звериное внимание. Скулы, обтянутые бледной кожей, губы, давно забывшие цвет. Волосы, собранные в небрежный узел, словно она всё ещё ждала чего-то или кого-то, кто мог бы увидеть её. Она смотрела на своё отражение и не узнавала. Та женщина, что жила в этом теле раньше, смеялась, плакала, любила, мечтала. Та женщина боялась одиночества. Эта — уже нет. Она стала частью этой тишины, её продолжением, её последним свидетелем.

Где-то в глубине дома что-то скрипнуло. Не ветер, не крыса, не падение старой балки. Скрип был слишком осмысленным, слишком живым. Она замерла, прислушиваясь. Сердце, давно привыкшее к медленному ритму, вдруг сбилось, ударило в рёбра, напоминая о том, что надежда — это всегда боль. Она не обернулась. Просто стояла, чувствуя, как тишина снова сгущается, как она обретает форму, как за её спиной, в дверном проёме, рождается нечто, чему не должно быть здесь места. Или, быть может, это всего лишь эхо её собственного одиночества, обретшее плоть?

Она не обернулась. Не потому, что боялась увидеть нечто,

а потому, что давно перестала верить в то, что за спиной может оказаться кто-то живой. Слишком много раз она оборачивалась, слишком много раз её взгляд натыкался на пустоту, на безмолвные стены, на тени, что играли с ней в жестокие игры. И теперь этот скрип — лишь ещё одна насмешка тишины, ещё один призрак, порождённый её собственной тоской. Ведь человеку, оставшемуся одному, свойственно населять мир фантомами. Сначала он скучает по голосам, потом начинает их слышать. Сначала он жаждет прикосновения, потом ощущает чью-то ладонь на плече, ледяную, как первый снег. Одиночество — это не отсутствие людей. Одиночество — это когда твой разум сам становится многолюдным, заселяет пустоту голосами, создаёт из пыли лица, а из сквозняков — шаги.

Она медленно выдохнула. Стекло перед ней запотело от её дыхания, закрывая мутной пеленой отражение той, кем она была. И в этот миг ей вдруг стало ясно, что все её воспоминания — это тоже своего рода призраки. Они приходили к ней по ночам, садились у изголовья, смотрели глазами тех, кого уже нет. Она помнила мать — её мягкие, тёплые руки, пахнущие травами. Помнила отца — его смех, раскатистый, как далёкий гром. Помнила его, того единственного, чьё имя она боялась произносить вслух, чтобы не спугнуть. Но все они давно превратились в тени, стали частью бесконечного сна, в котором она блуждает одна, не имея ни карты, ни про-

водника. И иногда ей казалось, что не мир умер, а она сама стала призраком, застрявшим между памятью и забвением.

Она отошла от окна, оставляя на стекле последний след своего присутствия, который к утру исчезнет, впитается, растворится. Дом умел забирать. Он забирал тепло, забирал звуки, забирал все те крошечные знаки жизни, которые она так отчаянно пыталась оставить. Она ступала по скрипучим половицам, и те стонали под её шагами, как старики, вспоминающие былую молодость. В этом доме всё стонало, всё помнило, всё отзывалось на любое движение. И она была не просто последним человеком, она была последним стуком сердца в огромной груди опустевшей планеты.

Она вышла на веранду. Вечерний воздух, густой от пыли, пахнувший гниющим деревом и остывающей землёй, обнял её за плечи, словно старый друг. Небо над головой было похоже на гигантский купол, обтянутый выцветшим бархатом, на котором ещё угадывались бледные, умирающие звёзды. Они мерцали робко, словно стесняясь смотреть на то, во что превратился мир. Она подняла к ним лицо, и ей почудилось, что звёзды шепчут ей что-то на языке, которого она не понимала, но чувствовала. Возможно, они говорили о вечности. О том, что все эти рухнувшие города, исчезнувшие голоса, рассыпавшиеся в прах любви — лишь мгновение в их ледяном существовании. О том, что её боль — капля в бескрай-

нем океане времени. Но от этого осознания ей не становилось легче, потому что человек устроен иначе. Для него весь мир заключён в его собственной груди, и если он не слышит ответа, то и вселенная для него — глухая, бескрайняя пустота.

Она села на край старой деревянной скамьи, склонила голову к плечу, обняла себя руками, словно пытаясь удержать внутри остатки тепла. Философы прошлого, те, чьи книги теперь гнили в подвалах и рассыпались от прикосновений, говорили, что человек рождается одиноким и умирает одиноким. Но они упускали главное: между рождением и смертью есть тонкая, хрупкая нить — присутствие другого. И когда эта нить рвётся, ты не просто остаёшься один. Ты перестаёшь существовать в том смысле, который имел значение. Ведь кто ты, если никто не может увидеть тебя? Кто ты, если твой голос, твои мысли, твоя боль нигде не отзываются эхом?

Она подумала о том, что быть последней женщиной на земле — это не только приговор. Это ещё и загадка. Словно мир, умирая, оставил после себя один-единственный вопрос, на который она должна найти ответ. Но какой? Зачем всё это было? Зачем столько войн и гимнов, столько поцелуев и прощаний, столько молитв и проклятий, если в конце концов осталась лишь она — босая, замёрзшая, в промозглом доме на краю света? Возможно, ответ крылся в самой способно-

сти задавать этот вопрос. В том, что она всё ещё ищет смысл, всё ещё смотрит в небо, всё ещё вздрагивает от скрипа за спиной. Смысл не в цели. Смысл в самом движении. В том, чтобы, даже оставшись последней, не превратиться в ничто.

Где-то вдалеке, за полями, за мёртвыми лесами, за ржавыми остовами машин, раздался вой. Не волк, не ветер, не гудок. Это был звук, похожий на стон самой земли, уставшей нести груз вечного молчания. Она подняла голову. В глазах её, впервые за долгое время, блеснуло нечто, похожее на отблеск умирающей звезды. Но это была не слеза, а отсвет догадки, тонкой, как лезвие. Мир, возможно, закончился. Но сама она ещё нет. И пока она слышит, пока она помнит, пока она чувствует холод — история не завершена. Она только на полуслове, как дыхание, замершее у самого края губ.

Она вернулась в дом, когда последние краски сумерек окончательно истлели, уступив место той особенной, беззвёздной темноте, какая бывает только в мире, забытом солнцем. Внутри пахло так, как пахнет всё, чего больше не касается человеческое тепло — пылью, старым деревом, застоявшимся временем. И всё же в этом запахе ей чудилось что-то до боли родное, словно сама вечность запаслась терпением и ждала её в каждом углу. Она не спешила зажигать свет. Темнота была её союзницей, её последним пристанищем, где никто не мог увидеть, как дрожат её пальцы, как

медленно, но неотвратимо что-то рушится внутри.

Она подошла к старому комоду, на котором лежали вещи, не принадлежавшие ей. Чужие, но ставшие почти священными. Потемневшая серебряная расчёска. Пожелтевшая фотография, на которой двое стояли у моря, и волны, казалось, всё ещё шептали им что-то нежное. Засохший цветок, хрупкий, как пепел, но до сих пор хранивший в своих лепестках эхо чьих-то слов. Она брала эти вещи в руки с той осторожностью, с какой касаются реликвий, и каждый раз чувствовала одно и то же: странное, горькое, необъяснимое ощущение, что любовь — это единственное, что не умирает. Всё тлеет, рассыпается, уходит в землю, но любовь остаётся. Она незримо витает в воздухе, таится в складках одежды, струится в лучах пыльного света, проникающего сквозь щели в ставнях. Она — последнее, что покидает дом. И, возможно, последнее, что покидает человека.

Она прижала к груди ту самую фотографию, вглядываясь в лица, стёртые временем почти до прозрачности. Ей не были знакомы эти двое, но она знала о них всё. Знала, что он любил её так, что каждое утро приносил к её ногам мир. Знала, что она смеялась так, что даже птицы замолкали, прислушиваясь. Знала, что они были счастливы в той короткой, обжигающей полноте, какая даётся лишь единожды и лишь тем, кто не боится потерять. И теперь, держа в ладонях этот

последний оттиск чужого счастья, она вдруг остро осознала: её собственная любовь никуда не делась. Она не умерла вместе с миром, не растворилась в ядовитом воздухе, не сгорела в тех пожарах, что съели небо. Она затаилась. Свернулась клубком где-то под рёбрами, как зверь, переживший зиму, и терпеливо ждала. Ждала, когда она сама позволит ей снова говорить.

Она выпрямилась, и тишина вокруг неё стала иной — не враждебной, а слушающей. Она медленно подошла к окну, из которого совсем недавно вглядывалась в пустоту, и её собственное отражение показалось ей не чужим, а усталым спутником, прошедшим с ней все круги этого бесконечного ада. Она коснулась стекла кончиками пальцев. Не для того, чтобы оставить след, а для того, чтобы ощутить холод, который снаружи. И в этом холоде ей почудился ответ. Не слова, не голос — а дыхание. Ровное, глубокое, живое. Она замерла, боясь спугнуть. Ей показалось, что за стеклом, за этой тонкой, хрупкой преградой, не просто мёртвая земля и немое небо. Что где-то, за пределами видимого, ещё теплится чьё-то сердце. И оно бьётся в такт её собственному.

Она вспомнила его. Того, чьё имя не решалась произносить. Вспомнила не лицо, не голос, а прикосновение. То, как его рука ложилась на её затылок, как пальцы запутывались в волосах, как он шептал ей на ухо что-то, от чего мир пере-

ставал вращаться. Она вспомнила утро, когда он ещё был рядом. Как пахло свежим хлебом, как за окном шумел дождь, как он смеялся, стоя в дверях, весь пропахший этим дождём и чем-то ещё — чем-то, что нельзя назвать, но можно почувствовать. Она не знала, где он теперь. Быть может, стал прахом, быть может — сном, а быть может — той самой тенью, что скрипнула за её спиной час назад. Но она знала одно: пока она помнит его, пока носит в себе эту память, как ребёнок носит в ладони робкий огонёк свечи, — он существует. Он рядом. Он в ней.

Любовь, думала она, — это ведь не про близость тел. Это про невидимую нить, которая не рвётся ни от времени, ни от расстояния, ни от гибели всего сущего. Это про то, что, даже оставшись последней, ты не одна. Потому что те, кого ты любил, становятся частью тебя навсегда. Они растворены в твоей крови, впечатаны в извилины памяти, вплетены в каждое твоё движение. И когда ты дышишь — они дышат вместе с тобой. Когда ты смотришь в темноту — они смотрят твоими глазами. Когда ты улыбаешься — это их улыбка освещает твоё лицо. Ты — последний храм, в котором ещё теплятся их жизни. И в этом было что-то величественное. Что-то, ради чего стоило просыпаться каждое утро, даже если это утро было серым и безнадёжным.

Она села на пол возле окна, поджав ноги, и обняла себя, но

теперь это не было жестом отчаяния. Это было объятие тех, кого она носила в себе. Она закрыла глаза и позволила воспоминаниям течь свободно, как реке, что наконец прорвала плотину. И в этой реке были не только боль и потери. В ней было столько нежности, что она сама удивилась — откуда в ней всё это? Любовь не ушла. Она просто ждала, когда её снова позовут. И теперь она откликнулась — тихая, всепроникающая, как рассвет, который рано или поздно наступает даже после самой долгой, самой бескрайней ночи.

И, разумеется, именно в тот момент, когда она позволила себе окончательно раствориться в этой щемящей, почти священной нежности, когда река воспоминаний несла её к каким-то полузабытым берегам, где всё ещё пахло утренним хлебом и дождём, — именно тогда в животе у неё предательски, громко, с какой-то неприличной торжественностью заурчало. Так, словно некий древний зверь, дремавший где-то в недрах её существа, внезапно проснулся и потребовал отчёта: где, собственно, ужин? И вся эта философия, всё это витание в облаках в одно мгновение разбилось о суровую, приземлённую реальность. Последняя женщина на земле, хранительница всех угасших любовей, сосуд вечной скорби и последний страж человечества — хотела есть. И не просто хотела, а так, что перед глазами поплыли картинки жареной картошки, румяной, с хрустящей корочкой, посыпанной солью и чем-то зелёным, чьё название она, кажется,

начинала забывать.

Она выдохнула, но уже не с той трагической глубиной, а как-то буднично, почти сварливо. Ну да. Вот так всегда. Только настроишься на высокое, только прикоснёшься к вечности, как брэнное тело тут же напоминает о себе самым бесцеремонным образом. Все эти поэты, воспевавшие одиночество, явно никогда не оставались одни на целой мёртвой планете без нормального ужина. А то бы они писали совсем другие стихи. О том, как трудно парить над бездной, когда в боку колет от голода, а из съестного — банка консервированной фасоли, которая, кажется, старше самой пирамиды Хеопса.

Она поднялась с пола, отряхнула пыль с коленей и направилась на кухню с видом человека, который не то идёт совершать великий обряд, не то собирается выяснять отношения с судьбой. Кухня встретила её всё тем же запахом — старого дерева, выцветших занавесок и той особенной, ни с чем не сравнимой затхлости, которую не выветрить никакими сквозняками. На столе, покрытом когда-то нарядной, а теперь серой от пыли клеёнке, стояла керосиновая лампа. Она чиркнула спичкой, и по стенам заплясали тёплые, живые тени. Сразу стало почти уютно. Почти по-человечески. Будто кто-то вот-вот войдёт, шурша пакетами, скажет: "Ну и погода сегодня..." — и начнёт рассказывать какую-нибудь

чепуху, от которой хочется то ли смеяться, то ли плакать. Но никто, конечно, не вошёл. Только тишина переступила с ноги на ногу, напоминая, что она тут — хозяйка.

Она открыла шкаф, где хранились её скудные припасы, разложенные с любовью и педантичностью, какая бывает у людей, переживших слишком много пустых дней. Там, в идеальном порядке, стояли банки: фасоль, горошек, какая-то сомнительная тушёнка, над которой она сама иногда подшучивала, что внутри, возможно, уже не мясо, а окаменелость эпохи динозавров. Пачка макарон, кажется, последних на этой части континента. Пакетик чая, пересыпанный какими-то крошками, но всё равно — сокровище. Она смотрела на всё это и чувствовала, как в груди, помимо голода, поднимается нечто вроде азарта. Надо же, сколько лет, а она всё ещё способна испытывать радость от перспективы сварить макароны. Это ли не чудо?

Она взяла кастрюлю, сдула с неё пыль, налила воды из потемневшей бутылки, зажгла плитку и уселась напротив, наблюдая, как вода медленно начинает дрожать, предчувствуя кипение. В этом было что-то почти магическое. Люди прошлого ждали рассветов, поездов, писем. А она ждала, когда закипит вода. И, к собственному удивлению, ждала с искренним нетерпением. Даже начала насвистывать какую-то мелодию, полузабытую, выплывшую из тех времён, когда она да-

же не знала, что одиночество бывает таким огромным. Мотив был глупый, пристающий, но он наполнял кухню чем-то, что почти можно было назвать жизнью.

Когда макароны, наконец, размякли, она слила воду, плюхнула в кастрюлю ложку того самого сомнительного жира, который хранила в стеклянной банке, щедро посолила и, не выдержав, принялась есть прямо так, стоя, обжигаясь, притопывая ногой от удовольствия. Это было так нелепо — стоять в опустевшем доме на краю мёртвого мира и радоваться макаронам, как ребёнок радуется мороженому. Но в этом и была вся правда. Жизнь, даже на последнем издыхании, умеет подсовывать крошечные радости, и глупо было бы отворачиваться. Она ела и улыбалась, чувствуя, как тепло растекается не только по желудку, но и по душе, как потихоньку отпускает вечная судорога, державшая её где-то между лопатками.

Она подумала, что если бы сейчас её видел тот, чьё имя она не произносила, он бы непременно рассмеялся. Он всегда смеялся, когда она с наслаждением ела, стоя, не донеся до стола. Говорил, что в такие моменты она похожа на голодного воробья, утащившего кусок хлеба. И от этой мысли ей стало одновременно и больно, и смешно. Она даже хмыкнула вслух, обращаясь к пустоте: "Воробей, значит. Ну-ну. Зато живой". И пустота, кажется, на секунду смутилась, как

будто не ожидала, что с ней заговорят. А потом, вместо того чтобы давить привычной тяжестью, тихонько отступила в углы, давая ей ещё немного пространства. Ещё немного жизни. Ещё немного надежды на то, что даже последняя женщина на земле имеет право на горячий ужин и глупую улыбку.

После ужина, который, к слову, оказался настолько вкусным, что впору было заподозрить божественное вмешательство, она почувствовала странную, почти забытую потребность — привести себя в порядок. Не потому, что её кто-то мог увидеть. Нет. А потому что впервые за долгое время ей вдруг захотелось соответствовать самой себе. Ведь если ты последняя представительница человечества, то, согласитесь, это накладывает определённые обязательства. Кто-то же должен достойно представлять вид на фоне всеобщей разрухи. Не хватало ещё, чтобы вселенная, глядя на неё, разочарованно вздыхала: "И вот ради этого всё затевалось?"

Она нашла в дальнем ящике старого комода маленькое потускневшее зеркало и решительно водрузила его на стол. Потом достала расчёску, ту самую, серебряную, и принялась распутывать волосы с упорством человека, который решил бросить вызов самой энтропии. Пряди не поддавались, спутывались в узлы, хрустели, как солома, и вообще вели себя так, будто заключили тайный союз с вечностью против неё. Она шипела, ворчала, обзывала их словами, которые в преж-

ние времена не позволила бы себе даже в мыслях. Но, в конце концов, кому какое дело? Цензура умерла вместе с цивилизацией. И в этом был, пожалуй, единственный неоспоримый плюс её положения. Полная, абсолютная свобода слова, причём без малейшего шанса кого-нибудь оскорбить. Разве что тараканов, но они, кажется, ушли в лучший мир раньше людей.

Она глянула в зеркало и невольно фыркнула. С той стороны на неё смотрело существо, в котором с трудом угадывались черты прежней женщины. Впалые щёки, круги под глазами, острый, какой-то испуганный подбородок, словно он всё ещё не верил в происходящее. Волосы, только что усмирённые, снова топорщились в разные стороны, напоминая то ли гнездо, то ли произведение современного искусства. Она прищурилась, склонила голову набок и вдруг рассмеелась. Тихо, хрипло, но искренне. Потому что подумала: а ведь в прежнем мире, в этом безумном, перенаселённом, гремящем мире, существовали целые институты красоты. Люди сходили с ума от того, как выглядят, наносили на лица тонны штукатурки, выпрямляли носы, надували губы, изобретали кремы от морщин, сыворотки для ресниц, диеты по группе крови и медитации на привлекательность. И всё ради чего? Чтобы в конце концов остался один-единственный зритель — она. И она, к своему стыду, предпочла бы сейчас баночку чего-нибудь увлажняющего, но, увы, вся ин-

дустрия красоты канула в небытие, как и её основные потребители.

Она попыталась пригладить бровь, которая, казалось, жила своей собственной жизнью, и вздохнула. Ну и ладно. Пусть. Зато она — последняя женщина. А это, как ни крути, титул. Почётное звание. Эксклюзив. Можно сказать, вершина. Теперь не нужно ни с кем конкурировать, никому соответствовать, следить за модой, бежать в ногу со временем. Время само остановилось и, судя по всему, не собиралось её догонять. Она была единственной законодательницей вкуса, иконой стиля и королевой красоты по умолчанию. Хоть ходи в мешке, хоть пой на луну, хоть разгуливай в шляпе из газеты — критики не будет. Все критики вымерли. И это, между прочим, почти утешение.

Она вдруг представила, как где-нибудь на орбите, в холодной черноте, сидят некие инопланетные наблюдатели, устало потирая виски, и смотрят на неё через свои невообразимые приборы. Вот она ходит по дому, вот ест макароны, вот чешет нос, вот разговаривает с тишиной. И им, бедным, наверное, скучно до одури. Впрочем, думала она, они могли бы хотя бы заплатить за просмотр. Или прислать гуманитарную помощь. Хотя бы крем для рук. Или носки. Ноги мёрзнут. Или что-нибудь сладкое. Она вдруг почувствовала, как во рту рождается смутное воспоминание о шоколаде. О том,

как он таял на языке, обволакивал, утешал. И это воспоминание было до того ярким, что она даже застонала. Шоколад! Люди гибли, строили империи, воевали за территории, открывали континенты, и всё ради чего? Чтобы она, последняя женщина на земле, сидела в пустом доме и мечтала о плитке молочного. Ирония, достойная пера самых желчных авторов.

Она отложила зеркало, потянулась и вышла в гостиную. Тишина, кажется, снова начала наливаться тяжестью, но теперь она знала, как с ней справляться. Нужно просто не молчать в ответ. Нужно комментировать всё, что происходит, как заправский телеведущий. Она встала посреди комнаты, откашлялась и произнесла в пустоту с подчёркнутой торжественностью: "Дамы и господа, позвольте представить вам последнее вечернее шоу на планете Земля. Сегодня в программе: прогулка по дому, одинокая рефлексия, безуспешные попытки навести красоту и, конечно, увлекательная беседа с мебелью". Она поклонилась воображаемому залу. "Спонсор выпуска — абсолютная тишина. Без неё наш эфир был бы невозможен". Тишина, к её удивлению, не ответила. Но это уже было не так важно. Главное — она снова слышала собственный голос. А это значило, что она ещё здесь. Ещё существует. Ещё способна смеяться над всем этим великолепным, трагическим, до слёз нелепым фарсом, который называется жизнью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.